

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Вечер на бивуаке[1]

* * *

...Едва проглянет день,
Каждый по полю порхает,
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.
Конь кипит под седоком,
Сабля свищет – враг валится,
Бой умолк – и вечером
Снова ковшик шевелится.[2] Давыдов

Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницами. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров[3], скрип колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана ***го гусарского полка эскадрону имени подполковника Мечина досталось на аванпосты. Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну[4], офицеры расположились вокруг огонька пить чай. После авангардного дела, за круговую чашею, радостно потолковать раненому о том о сем, похвалить отважных, посмеяться учтивости некоторых перед ядрами. Уже разговор наших аванпостных офицеров приметно редел, когда кирасирский поручик князь Ольский спрыгнул перед ними с коня.

– Здравствуйте, други.

– Добро пожаловать, князь! Насилу мы тебя к себе залучили; где пропадал?

– Спрашиваются ли такие вопросы? Обыкновенно, перед своим взводом, рубил, колол, побеждал, – однако и вы, гусары, сегодня доказали, что не на правом плече ментик[5] носите; объявляю вам мою благодарность. Между прочим, вахмистр! прикажи выводить и покормить моего Донца: он сегодня ничего не кушал кроме порохового дыма.

– Послушайте-ка, ваше сиятельство...

– Мое сиятельство ничего не слышит и не слушает, покуда не выпьет глинтвейну, без которого ему ни светло, ни тепло; давайте скорее стакан!

– Изволь! – сказал ротмистр Струйский. – Но знай, что эта чара заветная: за нее ты должен приплатиться анекдотом.

– Хоть сотней! За ними дело не станет; я весь слеппен из анекдотов и расскажу вам один из самых свежих, со мной случившихся. За здоровье храбрых, товарищи!

Как-то недавно у нас не было дни в три ни крошки провианту. Кругом, по милости вашей и казацкой, стало чисто, как в моем кармане, а, на беду, тяжелую конницу фуражировать не пускают. Что делать? Голод тем более умножался, что во французской линии слышалось гармоническое мычанье быков, которое плачевным эхом раздавалось в пустом моем желудке. Рассуждая о суете мирской, лежал я, завернувшись буркою, и грыз сухарь, так заплесневелый, что над ним можно бы было учиться ботанике, так черствый, что его надо было проводить в горло шомполом. Вдруг блеснула во мне пресчастливая мысль. Сейчас же ногу в стремя – и марш.

«Куда, – спросили меня, – едешь ты на своей бешеной Бьютти?»

«Куда глаза глядят».

«Зачем?»

«Умереть или пообедать!» – отвечал я трагическим голосом, дал шпоры и, показывая вид, будто меня занесла лошадь, пустился птицею и скрылся из глаз изумленных моих товарищей. Они считали меня погибшим. Проскакав русскую цепь, я навязал на палаш платок, который в молодости своей бывал белым, и поехал рысью.

«Qui vive?» – раздалось с неприятельского пикета.

«Parlementaire russe!» – отвечал я.

«Haltela!»[6]

Ко мне подъехал унтер-офицер с взведенным пистолетом.

«Зачем вы приехали?»

«Поговорить с начальником отряда».

«Для чего же без трубача?»

«Его убили».

Мне завязали глаза, повели пешего, и через три минуты я уже по обонянию угадал, что нахожусь подле офицерского шалаша. «Добрый знак! – думал я. – Счастливым как тут к обеду». Снимают повязку – и я очутился в компании полковника и человек осьми конноегерских французских офицеров; малый я не застенчивый.

«Messieurs![7] – сказал я им, поклонясь весьма развязно, – я не ел почти три дня и, зная, что у вас всего много, решил, по рыцарскому обычаю, положиться на великодушие неприятелей и ехать к вам на обед в гости. Твердо уверен, что французы не воспользуются этим и не захотят, чтобы я за шутку заплатил вольностью. Да и много ли выиграет Франция, если завладеет конным поручиком, которого все знания и действия очерчиваются концом палаша?»

Я не обманулся: французам моя выходка понравилась как нельзя больше. Они пропировали со мной до вечера, нагрузили съестным мой чемодан, и мы расстались друзьями, обещая при первой встрече раскроить друг другу голову от чистого сердца.

– Не из печатного ли это? – спросил, усмехаясь, штабс-ротмистр Ничтович, который слыл в полку за великого критика.

– Да хотя бы из печатного, – для тебя оно все-таки должно быть новостью! – отвечал Ольский.

– А после какого дела это случилось?

– После того самого, где ты ранен был в сапог. Штабс-ротмистр запил пилюлю и напрасно тербил усы, ища ответа на ответ: на этот раз остроумие его осеклось.

– Не расскажет ли нам чего-нибудь Лидии? – сказал подполковник, обращаясь к молодому офицеру, который в рассеянности курил давно погасшую трубку.

– Нет, подполковник! Мне нечего рассказывать. Мой роман занимателен для меня одного, потому что обилен только чувствами, а не приключениями. И признаюсь вам: теперь вы разрушили самый великолепный воздушный мой замок. Мне мечталось, что я за отличие уже произведен в штаб-офицеры, что я сорвал «Георгия» с неприятельской пушки, что я возвращаюсь в Москву, украшен ранами и славой; что троюродный мой дядя, который старше Дендерского Зодиака[8], умирает от радости, и я, богач, бросаюсь к ногам милой, несравненной Александрины!

– Мечтатель, мечтатель! – сказал Мечин. – Но кто не был им? кто больше меня веровал в верность и в любовь женскую? Я расскажу теперь случай моей жизни, который тебе, милый Лидии, может послужить уроком, если влюбленные могут учиться чужою опытностью, – для вас же примолвлю, друзья мои, что это будет история медальона, о котором я давно обещал вам рассказать. Послушайте!

Года за два до кампании княжна София S. привлекала к себе все сердца и лорнеты Петербурга: Невский бульвар кипел вздыхателями, когда она прогуливалась; бенефисы были удачны, если она приезжала в театр, и на балах надобно было тесниться, чтобы на нее взглянуть, не говоря уже танцевать с нею. Любопытство заставило меня узнать ее покороче; самолюбие подстрекнуло обратить на себя внимание Софии, а ее любезность, образованный ум и доброта сердца очаровали меня навсегда. Впрочем, говорят, и я верю, что любовь прилетает не иначе, как на крыльях надежды, – я недаром в княжну влюбился. Вы знаете, друзья, что природа влила в меня знойные страсти, которыми увлекаюсь в радости – до восторга, в досадах – до исступленья или отчаяния. Судите ж, каково было мое блаженство при замеченной взаимности! Я забредил идиллиями; мне вообразилось, что одинокая жизнь несносна, тем более что родители Софии смотрели на меня благосклонным взором. Со мною жил тогда первый мой друг, отставной майор Владов, человек с благородными правилами, с пылким характером, по с холодною головою. «Ты дурачишься, – не раз говорил он мне в ответ на мои восторги, – избирая невесту из блестящего круга. У отца княжны более долгов и прихотей, чем денег, а твоего имения ненадолго станет для женщины, привычной к роскоши. Ты скажешь: ее можно перевоспитать на свой образец, ей только семнадцать лет от роду; но зато сколько в ней предрассудков от воспитания! Все возможно с любовью! – твердишь ты, но кто ж уверит тебя, что княжна вздыхает от любви, а не от узкого корсета, что она глядит в глаза твои для тебя, а не для того, чтоб глядеться в них самой? Поверь мне, что в ту минуту, когда она так нежно рассуждает об умеренности, о счастии домашней жизни, мысли ее стремятся уже к дамскому току или к карете с белыми колесами, в которой блеснет она в Екатерингофе, или к новой шали, для показа которой тебя затаaskaют по скучным визитам. Друг! я знаю твое раздражительное от самых безделок сердце и в княжне вижу прелестную, прелюбезную женщину, но женщину, которая любит жить в свете и для света и едва ли пожертвует тебе котильоном, не только столичного жизнию, когда расчеты или долг службы позовут тебя в армию. За упреками настанет убийственное равнодушие, и тогда – прости, счастье!» Я смеялся его словам, однако ж изведывал наклонности Софии и каждый день находил в ней новые достоинства, и с каждым часом страсть моя возрастала. Между тем я не спешил объяснением: мне хотелось, чтобы княжна любила во мне не мундир, не мазурку, не острые слова, но меня самого без всяких видов. Наконец я в том уверился и решился.

Накануне предполагаемого сватовства я танцевал с княжною у графа Т. и был радостен как дитя, упоен надеждою и любовью. Один капитан, слывший тогда за образец моды, досадуя, что София не пошла с ним танцевать, позволил себе весьма нескромные на ее счет выражения, стоя за мною, и довольно громко. Кто осмеливается обидеть даму, тот возлагает на ее кавалера обязанность мстить за нее, хотя бы она вовсе не была ему знакома. Я вспыхнул и едва мог удержать себя до конца кадрили, услышав его остроты на счет княжны. Объяснение не замедлило. А капитан думал отыгаться шутками, говорил, что он не помнит слов своих. «Но я, по несчастью, имею очень счастливую память. Вы должны просить на коленях прощения у моей дамы, или завтра в десять часов волею и неволею увидите со мною на Охте». Вам известно, что я не охотник до пробочных дуэлей: мы стрелялись на пяти шагах, и первый его выстрел, по жеребью, положил меня за мертво. Какой-то испанский поэт, имени и отчества не упомню, сказал, что первый удар аптекарской иготи[9] есть уже звон погребального колокола: пуля вылетела насквозь в соседстве легких; антонов огонь грозил сжечь сердце, но, вопреки Лесажу и Мольеру, я выздоровел[10], с помощью лекарей и пластырей, в полтора месяца.

Бледность лица очень мила, но чтобы не показаться княжне мертвецом, я умерил на несколько дней свое нетерпенье и, уже оправясь, полетел верхом к князю на дачу. Сердце мое билось новою жизнью: я мечтал о радостной встрече моей с Софиею, о ее смущенье, об объяснении, о супружестве, о первом дне его... Полный восторгов надежды, взбегаю на лестницу, в переднюю залу, – громкий смех княжны в гостиной поражает слух мой. Признаюсь, это меня огорчило. Как! та София, которая грустила, если не видала меня два дни, веселится теперь, когда я за нее слег в смертную постелью! Я приостановился у зеркала: слышалось, будто упоминают мое имя, говорят о Дон-Кихоте; вхожу – молодой офицер, склонясь на спинку стула Софии, рассказывал ей что-то вполголоса и, как кажется, весьма дружески. Княжна несколько не смутилась: спросила меня с холодной заботливостью о здоровье, обошлась со мной как с старым знакомцем, но, видимо, отдавала преимущество своему соседу: не хотела понимать ни взглядов, ни намеков моих о прежнем. Я не мог придумать, что это значит, не мог вообразить вины такой обыкновенной холодности – и напрасно искал в ее взорах столь милой досады, делающей сладостным примирение: в них не было уже ни искры, ни тени любви. Иногда она украдкой бросала на меня взгляды, но в них прочитал я одно любопытство. Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, грыз себе губы и, боясь, чтобы чувства мои не вырвались речью, решился уехать. Не помню, где скакал я по полям и болотам, под проливным дождем; в полночь воротился я домой без шляпы, без памяти. «Жалею тебя! – сказал Владов, меня встречая. – И, прости укор дружбы, не предсказал ли я, что дом князя будет для тебя ящиком Пандоры [11]? Однако ж на сильные болезни надобны сильные лекарства: читай». Он отдал мне свадебный билет – о помолвке княжны за моего соперника!.. Бешенство и месть, как молния, запалили: кровь мою. Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел), чтобы коварная не могла торжествовать с ним. Я решился высказать ей все, укорить ее... одним словом, я неистовствовал. Знаете ли вы, друзья мои, что такое жажда крови и мести? Я испытал ее в эту ужаснейшую ночь! В тиши слышно было кипение крови в моих жилах, – она то душила сердце приливом, то остывала как лед. Мне беспрестанно мечтались: гром пистолета, огонь, кровь и трупы. Едва перед утром забылся я тяжким сном. Ординарец военного министра разбудил меня: «Ваше благородие, пожалуйте к генералу!» Я вскочил с мыслию, что, верно, зовут меня насчет дуэли. Являюсь. «Государь император, – сказал министр, – приказал выбрать надежного офицера, чтобы отвезти к генералу Кутузову, главнокомандующему южною армиею, важные депеши; я назначил вас, – спешите! Вот пакеты и прогоны. Секретарь запишет на подорожной час отъезда. Счастливого пути, г. курьер!» Тележка стояла у крыльца, и я очнулся уже на третьей станции; великодушный Владов ехал со мною. Тут-то изведаль я, что дружество утешает, но не наполняет сердца, и дорога дальняя, вопреки общему мнению, только разбила, но не рассеяла меня. Главнокомандующий принял меня отменно ласково и, наконец, уговорил остаться в действующей армии. Презрение к жизни довело меня до мысли о самоубийстве, но Владов

своими советами и нежным участием тронул меня. Кто жить советует, всегда красноречив, и он спас мою совесть от двух убийств, мое имя – от насмешек. «Я знал все, – говорил он мне, – но не смел объявить тебе во время болезни. Видя, что открылась тайна, и зная твой бешеный нрав, я бросился к секретарю военного министра, моему приятелю, просил, умолял: тебя послали курьером. Время – лучший советник, и теперь признайся сам: стоит ли порогу твой противник? стоит ли шуму твоя любезная, избравшая в женихи человека без чести и правил, потому только, что он в тоне, что матушка ее заметила лишний против твоего нуля в звончатых титулах человека, который решился проиграть мне брильянтовый портрет своей невесты, ее подарок?» Он отдал тогда мне этот медальон.

Подполковник снял его с груди и показал офицерам.

– Пусть мне тупым кремнем отпилят голову, если я вижу тут что-нибудь! – вскричал Ольский.
– Вся эмаль разбита вдребезги.

– Провидение, – продолжал подполковник, – сохранило меня от смерти на берегах Дуная, чтоб долее послужить отечеству: пуля сплуснулась на портрете Софии, но не пощадила его. Прошел год, и армия, по заключении мира с турками, двинулась наперерез Наполеону. Тоска и климат расстроили мое здоровье: я на месяц отпросился на Кавказ – искать целительных вод для здоровья, живой воды – для моего духа.

На другой день по приезде я пошел с тамошним доктором отправить визиты. «Вы увидите, – сказал доктор, когда мы приближались к одному домику, – молодую прекрасную особу, которая чахнет, быв жертвою брака по расчету. Родители напели ей о счастье пышности, а обиженное самолюбие завлекло ее в сети блестящего негодяя, и, обманутая минутною прихотью сердца, она кинулась в его объятия. Что ж вышло? Тетушки и матушка, искавшие в женихе богатства, нашли одно хвастовство, необъятные долги и разврат; он искал приданого и, обманутый обещаниями, в свою очередь оказался во всей черноте: измучил жену язвительными упреками, поведением вогнал ее в чахотку и наконец, проигравши и промотавши все, бросил ее, ославив в свете. Теперь она приехала сюда с отцом, умереть под теплым кавказским небом». Я боялся беспокоить ее посещением. «О нет! – говорил доктор, – ведь чахоточные умирают на ногах, и я имею правилом: коротать рассеянностью время больных, когда лекарствами нельзя продлить их жизнь». Говоря таким образом, вошли мы в комнату. Это была София!..

Есть невыразимые чувства и сцены. Я думал, что ненавижу Софию; уверял себя, что, если судьба приведет мне с нею встретиться, я заплачу за измену холодным презрением; но я узнал, как много любил ее, когда, вместо гордой красавицы, увидел несчастную жертву света, с потухшими очами, с смертною бледностью лица. На краю гроба исчезают все приличия, и когда София пришла в чувство, рука ее была омочена моими слезами и поцелуями. «Вы не клянете меня? Виктор, ты меня прощаешь?.. – сказала она раздирающим сердце голосом.

– Благородная душа... ты сожалеешь, видя меня, так жестоко наказанную за легкомыслие. Теперь я умру покойно». Жизнь, как тлеющая лампада, от дуновения вспыхнула в ней на несколько дней чем-то бывалым. Но каково было мне видеть разрушение Софии, слышать, как постепенно сокращалось ее дыхание, чувствовать ее муки, переносимые с ангельским терпением!.. Она гасла – без ропота, обвиняя во всем себя одну. Друзья! друзья! я перенес много страданий, но ни одно мученье в мире не сравнится с мукою – видеть умирающую любезную; ужасно и вспомнить... София умерла на руках моих!

Подполковник не мог продолжать. Тронутые офицеры молчали, и даже с ресницы ротмистра скатилась слеза на ус и с него канула в серебряный стакан с глинтвейном. Вдруг послышался выстрел, другой, третий. Казаки с ведетов[12] неслись мимо эскадрона.

– Что, много ли неприятелей? – спросил торопливо ротмистр, вспрыгнув на своего Черкеса.

– Видимо-невидимо, ваше высокоблагородие! – отвечал урядник.

– Мундштучь, садись! – скомандовал подполковник. – Фланкеры! осмотреть пистолеты. Сабли вон! По три налево заезжай! Рысью! Марш!

Примечания

1

Вечер на бивуаке. Впервые – в альманахе «Полярная звезда», 1823 год, за подписью: А. Бестужев.

2

Эпиграф взят из стихотворения Д. В. Давыдова «Песня старого гусара» (1819).

3

Фуражир (воен.) – военный служащий, ведающий заготовкой, хранением и выдачей фуража (норма для лошадей и скота).

4

...приказав кормить лошадей через одну... – то есть поочередно, сохраняя цепь.

5

Ментик – гусарская куртка с меховой опушкой, носимая на левом плече.

6

«Кто идет?» – «Русский парламентар». – «Остановитесь!» – фр.

7

Господа! – фр.

8

...старее Дендерского Зодиака... – Дендра – местность в Египте, севернее Фив, на левом берегу Нила, где сохранились развалины древнего храма с изображением на своде знаков Зодиака.

9

Иготь – ручная аптечная ступка.

10

...но, вопреки Лесажу и Мольеру, я выздоровел... – Имеется в виду то, что французские писатели Лесаж Ален Рене (1668—1747) и Мольер Жан Батист (1622—1673) в некоторых своих произведениях изображали лекарей-шарлатанов.

11

...ящик Пандоры... – Пандора – в древнегреческой мифологии имя женщины, мужу которой Зевс подарил сосуд, содержащий все человеческие несчастья, пороки и болезни. Любопытная Пандора, открыв его, выпустила их на волю. Здесь: источник всяческих бедствий.

12

Ведеты – передовая цепь часовых, сторожевое охранение. Фланкеры – солдаты или конные, высылаемые в боковой дозор во время движения отряда.